

С. С. Б. [Антоний (Храповицкий), архим.] Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф. М. Достоевского // Богословский вестник 1893. Т. 4. № 10. С. 41–79 (2-я пагин.).

Пастырское изученіе людей и жизни по сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго.

Достоевскій раскрываетъ въ своихъ сочиненіяхъ стройное и весьма полное міросозерцаніе: всѣ разнообразѣйшія частности жизни и мысли, нескончаемой вереницей проходящія предъ его читателемъ, проникнуты одною нравственною идеею. Въ начертаніи безчисленныхъ типовъ изъ самыхъ разнообразныхъ областей общественнаго быта—отъ схимника до социалиста, отъ младенцевъ и философовъ до преклонныхъ старцевъ, отъ богомолковъ до блудницъ, Достоевскій не пропускаетъ ни одной картинпы, ни одной, можно сказать, строки, не привязанной такъ или иначе къ своей идеѣ. Богатство нравственнаго содержанія автора такъ обильно; такъ стремительно снѣшится оно излиться, что ему мало двѣнадцати толстыхъ томовъ и шестидесятилѣтней трудовой жизни, чтобы успѣть высказать міру желаемыя слова. Томимый жаждою этой проповѣди, онъ не успѣваетъ усовершенствовать свои повѣсти съ внѣшне-художественной стороны и вмѣсто обычнаго у другихъ писателей растягиванія и пережевыванія иногда *малосодержательной идейки на сотни страницъ разныхъ картинокъ и типовъ, нашъ писатель напротивъ того громоздитъ снѣшно и сжато идею на идею, психическій законъ на законъ; напряженное вниманіе читателя не успѣваетъ догонять его глазъ и онъ, поминутно останавливая свое чтеніе, обращаетъ свой взоръ снова на перечитанныя строки — настолько онѣ содержательны и серьезны. Не малопонятность изложенія тому причиною, не туманность мысли, а именно приизливающаяся полнота содержанія, не знающая себѣ подобной во всей нашей литературѣ. Читать Достоевскаго—это хотя сладо-

стная, но утомительная, тяжелая работа: пятьдесятъ страницъ его повѣсти дають для мысли читателя содержаніе пятисотъ страницъ повѣстей прочихъ писателей и вдобавокъ перѣдко бессонную ночь томительныхъ укоровъ себѣ или восторженныхъ надеждъ и стремленій.

I. Двойкая логика.

Остается приступить къ раскрытію главныхъ идей міросозерцанія, но прежде скажемъ о способѣ его сообщенія въ повѣстяхъ автора. Такихъ способовъ мыслители и правоучители имѣють два: одинъ способъ схоластическій, дедуктивный или демонстративный, другой — психологическій, индуктивный или интуитивный. Въ области собственно религіозной морали, къ которой примыкають всѣ выводы изъ повѣстей Достоевскаго, оба эти способа передачи мыслей разграничиваются другъ отъ друга довольно рѣзко, а вліяють и вовсе неодинаково. Методъ демонстративный, свойственный школьнымъ руководствамъ, громадному большинству сочиненій ученыхъ, а также и жизненно — практическому учительству нѣкоторыхъ религій, напр., іудейской и пожалуй римскокатолической, обосновываетъ нравственныя заповѣди и идеалы на положеніяхъ или исторически признаннаго авторитета или общихъ началъ логики, метафизики и особенно права или наконецъ требованій законной власти. Это мораль номизма, претендующая на истину логическую или логически оправданнаго авторитета, будтобы отсутствующаго въ соперничающемъ съ нею методѣ интуитивномъ. Ей, впрочемъ, остается только съ горечью признавать, что логика (въ ея пониманіи) очень слабый двигатель умовъ, ибо религіи, опирающіяся на нее, религіи номизма, не приобретаютъ себѣ прозелитовъ, да и въ собственномъ своемъ религіозномъ обществѣ укореняются не силою своихъ собственныхъ идей, но вліяніемъ началъ постороннихъ, связанныхъ съ ними лишь случайно, началъ народныхъ или культурныхъ, прививающихся опять же къ чисто интуитивнымъ, т. е. непосредственнымъ, симпатіямъ и страстямъ народовъ. Католики, напр., много миссіонерствуютъ, но вѣдь они проповѣдуютъ не столько самый ка-

толицизмъ, сколько еврейскую культуру съ пераздѣльною въ глазахъ язычниковъ примѣсю католицизма ¹⁾. Культура въ свою очередь вліяетъ опять же не своими философскими основоположеніями и не идеями, а ощутительными для непосредственнаго себялюбія каждаго комфортомъ и социальными удобствами для привеллигированныхъ классовъ. Вотъ почему католицизмъ, и культура, и наука современная, и школа—все это прежде всего для привилегированныхъ, все это дѣйствуетъ и распространяетъ себя мотивами евдемонистическими, все такъ мало вліяетъ на нравственную жизнь общества, такъ далеко отъ способности потрясать сердца собственнымъ своимъ содержаніемъ, а старается дѣйствовать на другіе, непосредственные аффекты, привходящіе сюда лишь случайно. Конечно, никто не осмѣлится отрицать, что между представителями помистическихъ религій, науки и культуры есть люди, искренно и безкорыстно пропикнутые соотвѣтственными ихъ убѣжденіямъ идеалами, но вѣдь это самое послѣднее слово — идеаль переносить ихъ въ лагерь интуитивистовъ, оно дѣлаетъ ихъ особняками въ ряду своихъ сотоварищей, особняками по жизни, особняками и по мысли, и проповѣди. Это Спиноза у евреевъ, немилый низмизму католикъ-гуманистъ въ родѣ епископа въ повѣсти „отверженные“; это какой нибудь Ж. Ж. Руссо въ исторіи культуры или Ридъ и Хомяковъ въ наукѣ. Первые — особняки жизни у товарищей по религіознымъ связямъ, вторые — особняки мысли среди товарищей по дѣятельности. Люди науки и культуры ихъ любятъ, но любятъ по человечеству, насколько сами не успѣли уйти въ холодный низмизмъ и схоластику, поскольку сами продолжаютъ принадлежать къ живому обществу, въ свою очередь столь холодному къ поклоняемой ими схолистикѣ и формально-логическимъ доводамъ.

Но что же это за интуитивная мораль? Это та мораль, та философія, которая не только проникаетъ въ народъ и вдохновляетъ массы, но и дѣлается сама по себѣ, помимо постороннихъ побужденій, столь дорогимъ сокровищемъ для людей, что ради нея забывается и государственность, и на-

¹⁾ См. „Русскій Вѣстникъ“. 1893. Февр. „Христіанская проповѣдь въ Китаѣ и Японіи“.

родность, предъ нею падаютъ стѣны замкнутости сословіи и уничтожаются средостѣніе разныхъ школъ и уровней въ образованіи. Будь это ученіе Конфуція или Будды, или небесная истина евангельской проповѣди, или измышленіе Магометовой фантазій, но разъ это слово умѣло обращено къ внутреннему опыту слушателей и на немъ именно основано, съ полнымъ или относительнымъ правомъ:—оно побѣдительнымъ потокомъ сливается въ себя различіе народовъ. *„Тогда все вмѣстѣ раздробилось: желѣзо, мѣдь, серебро и золото сдѣлалось, какъ прахъ на лютняхъ гуднахъ и вътеръ унесъ ихъ и слѣда не осталось отъ нихъ, а камень, разбившійся встукани, сдѣлался великой горой и наполнилъ всю землю“* (Дан. 2. 35). Во всей силѣ этотъ образъ приложимъ только къ христіанству, но съ нѣкоторыми ограниченіями—и къ прочимъ интуитивнымъ ученіямъ. Интуитивная логика, т. е. доктрина, почерпающая свои положенія или аксіомы не изъ среды общихъ формальныхъ понятій или авторитета, а опирающаяся на нравственные истины, раздѣляемые всякимъ, кто въ нихъ пожелаетъ вслушаться, говорить человѣку о законахъ его же собственной внутренней жизни и такимъ образомъ не понуждаетъ его мысль къ соглашенію, но предоставляетъ его собственному разуму и совѣсти чрезъ постоянный опытъ провѣрять ее. Она конечно не исключаетъ логику формальную, пользуется ею, но не исчерпывается въ ней. Возводитъ къ ясному сознанію хотя нѣкоторыя свойства своей психической жизни и такимъ образомъ получать возможность господствовать надъ ними есть величайшее наслажденіе для человѣка, возвращающее ему гармоническое согласіе ума, чувства и воли; вотъ почему въ Евангеліи говорится, что множество народа слушало притчи Господа „съ услажденіемъ“ (Мр. 12, 37) и сбѣгаясь отовсюду. „тѣснился къ Нему, чтобы слышать слово Божіе“ (Лук. 5, 1), смѣло свидѣтельствовалъ, что „никогда человѣкъ не говорилъ такъ, какъ этотъ человѣкъ“ (Іо. 7, 46).

Именно это высокое наслажденіе, которое почерпается изъ интуитивной философіи, сливается ею во единую массу такіе многочисленные сонмы народовъ, какъ тѣ, изъ которыхъ составились конфуціане, буддисты, магометане, христіане —и даетъ религіямъ тысячелѣтнюю, а истинной

религій — вѣчную продолжительность. Разница между христіанской, истинной религіей и остальными — ложными, сохраняется та, что послѣднія освящаютъ собою лишь немногія стороны психической жизни и освящаютъ страсти, особенно дорогія нѣкоторымъ темпераментамъ; давая силу одной сторонѣ жизни, онѣ или отрицаютъ, или повергаютъ въ туманъ міеологію остальныхъ и потому хотя сильно убѣжденность ихъ послѣдователей, но она разрушается проповѣдью о Галилеянинѣ, хотя широка область ихъ распространенія, сливающая царства и народа, но имѣетъ границу въ лицѣ другихъ типовъ, другихъ идеаловъ. Только Сыну Человѣческому надъ этими звѣрыми *„дана власть, слава и царство, что бы всѣ народы и племена, и языки служили Ему; владычество Его владычество вѣчное, которое не перейдетъ, и царство Его не разрушится“* (Дан. 7, 14). Ученіе Христово — ученіе интуитивное; Господь до времени скрывалъ отъ слушателей Свое Божественное достоинство: онъ хотѣлъ, чтобы они, провѣряя внутреннимъ опытомъ Его заповѣди и созерцая Его любовь, Его дѣла, поняли, что въ томъ и другомъ раскрывается жизнь и мысль Божественная, что бы они сами, посредствомъ наведенія отъ словъ и дѣлъ Христовыхъ, воскликнули подобно Апостолу Павлу: *„Господь мой и Богъ мой“* (Іоан. 20, 28).

Изъявляя готовность прощать тому, кто скажетъ слово на Сына Человѣческаго лично (Лук. 12, 10), требуя иногда вѣры не Себѣ, но Своимъ дѣламъ (Іоан. 10, 37. 38), Господь сказалъ, что не Онъ Самъ, но именно Его ученіе, Его слово, которое Онъ говоритъ народу, будетъ обвинителемъ и судьей невѣрныхъ и беззаконниковъ въ послѣдній день (Іоан. 12, 48). Догматъ Троицы и особенно догматъ о лицѣ Господа Іисуса Христа разсматривался и защищался Отцами не только со стороны экзегетической, но и со стороны нравственно-интуитивной, какъ единственно правильная опора для христіанской добродѣтели и борьбы съ міромъ. Тотъ же характеръ имѣютъ ихъ правоучительныя творенія и степенью этой же интуитивности опредѣляется дѣйствительность и современныхъ проповѣдей.

Изящная литература интуитивна по самой своей задачѣ, какъ письменность художественная, но съ великимъ трудомъ сохраняетъ она въ неповрежденности своей художе-

ственный характеръ, когда не удовольствуясь безрезультатнымъ описаніемъ виѣшне бытовой дѣйствительности, представляетъ своею цѣлью привести читателя къ высшимъ обобщеніямъ, къ различнымъ выводамъ въ области этической, политической, философской или религіозной. Писатель тогда то извращаетъ дѣйствительную жизнь, то подбирая случайные типы, старается читателю усвоить *общее сочувствіе* къ представителямъ одного лагеря и враждебное настроеніе — къ другому, не обосновывая внутренней правды самыхъ своихъ идей. Такъ называемая *тенденціозность* есть именно одинъ изъ этихъ двухъ способовъ не вполне правдиваго вліянія на мысль и чувство читателя, способъ миссіонерства современныхъ католиковъ. Обвиняютъ въ тенденціозности и Достоевскаго, но обвиняютъ только потому, что обвинять его, какъ литератора, не въ чемъ; на самомъ дѣлѣ его повѣсти чужды всякой партійности. Не буду говорить о томъ, что авторъ равно бичуетъ въ нихъ и вѣрующихъ, и невѣрующихъ, западниковъ и патріотовъ; равно отыскиваетъ доброе въ тѣхъ и другихъ: сошлюсь на то, думаю несомненное впечатлѣніе о ходѣ духовнаго развитія самаго писателя, которое подтверждается и его біографіями. У Достоевскаго изображеніе законовъ психической жизни и картинъ быта общественнаго не послѣдовало за сложившимся заранѣе философскимъ и нравственнымъ міровоззрѣніемъ, но предшествовало ему и образовывало собою это міровоззрѣніе съ такою же индуктивною постепенностью, съ какою оно усвоится его читателемъ. У Достоевскаго, какъ психолога, какъ право-и-быто-описателя, нѣтъ стадій развитія: картины внутренней жизни его героевъ, ихъ борьба съ собою, ихъ принадлежности, раскаяніе или самоубійства, совершенно одинаково описываются и въ предсмертномъ его романѣ „Братья Карамазовы“, и въ юношескихъ произведеніяхъ, какъ „Бѣдные Люди“, и въ твореніяхъ, написанныхъ во время и послѣ ссылки, такъ что распустивъ его сочиненія по листочкамъ и перепутавъ ихъ всѣ между собою, мы не получимъ дисгармоніи въ характерѣ перемѣшанныхъ картинъ, ни рѣжущаго разнообразія въ монологахъ: нарушится только послѣдовательность излагаемыхъ повѣстей. Достоевскій, какъ описатель дѣйствительности, одинъ и тотъ же на протяженіи тридцати-пяти-лѣтней лит-

тературной дѣятельности, по Достоевскій, какъ прямой проповѣдникъ православія, открывается себѣ и міру лишь въ послѣднее десятилѣтіе своей жизни, какъ славянофилъ и панславистъ—въ послѣднее пятилѣтіе, и даже того меньше. Между тѣмъ, если снова пересмотрѣть всѣ его произведенія, начиная съ 1846 года, то всѣ они приводятъ къ одному и тому же, всѣ говорятъ читателю то-же, что „Братья Карамазовы“, начавшіеся за два года до кончины писателя. Избравъ предметомъ наблюденія жизнь человѣческаго сердца безъ всякихъ дальнѣйшихъ общеполитическихъ представлений, и тѣмъ давая читателю полнѣйшую возможность слѣдить за мыслью автора шагъ за шагомъ, Достоевскій въ законахъ этого же сердца указываетъ зачатки нравственныхъ понятій и выводовъ, сначала чисто субъективныхъ антропологическихъ, въ родѣ, напр., вреда гордости въ „Неточкѣ Незвановой“ (1849), или силы смиренія въ „Бѣдныхъ людяхъ“ (1846), а затѣмъ продолжаетъ всматриваться и въ тѣ постепенно расширяющіеся круги нравственной атмосферы, которые, расходясь въ ширь отъ колебаній человѣческаго сердца, достигаютъ высоты небеснаго Престола и проникаютъ въ подземную глубину богопротивнаго царства сатаны, по пути своему охватывая все богатство различныхъ областей народнаго, историческаго и всемірнаго обществнаго. Взирая на всѣ эти предметы не совнѣ, а изнутри, авторъ дѣлаетъ и для читателя свою логику всегда доступною посредствомъ строгой провѣрки, и если бы читатель почему либо остановилъ его на какомъ нибудь большомъ кругѣ его созерцаній, то все же за ними обоими остается все богатство раннѣйшихъ внутреннихъ круговъ, совершенно вопреки пріемамъ дедуктивной философіи, гдѣ обыкновенно одинъ раскритикованный силлогизмъ заставляетъ рухнуть все построенное зданіе, нерѣдко до послѣдняго камня. Говоря кратко, Достоевскій начертываетъ свойства и законы внутренней жизни человѣка, законы жизни и совѣсти, а всѣ дальнѣйшіе богословскіе и социальныя выводы предлагаетъ въ видѣ логическихъ постулатовъ къ первымъ, не переставая впрочемъ и послѣдніе провѣрять чрезъ изслѣдованіе дѣйствительной личной и общественной жизни. Достоевскій, поэтому, не увлекаетъ читателя, не показываетъ ему дѣйствительность, предлагая ему самому

высказать, какой философскій выводъ съ неотразимою ясностью изъ нея слѣдуетъ и оставляя его обладателемъ первой даже и въ случаѣ упорнаго отказа отъ послѣдняго. Пусть читатель, созерцая старца Зосиму и самоубійцу Смердякова съ почти подобнымъ ему Иваномъ Карамазовымъ, не опредѣлитъ своихъ отношеній къ этимъ двумъ типамъ, пусть онъ откажется произнести судъ надъ тѣми идеями, во имя которыхъ они жили, но все-же эти два типа предъ нимъ и у него, отрицать ихъ реальность и ясно раскрытую ихъ связь съ ихъ идеями, онъ не въ состояннн.

Итакъ, творенія Достоевскаго должны быть цѣнны и дороги для всякаго, даже независимо отъ его міровоззрѣння, ибо методъ мышленія автора — методъ индуктивный, психологическнй, интуитивный. Авторъ не пропагандистъ, прельщаемый и прельщающнй, но проповѣдникъ, исповѣдующнйся и исповѣдующнй, — проповѣдникъ бесконечно *искренннй*.

II. О чемъ писалъ Достоевскнй.

Мы сказали, что Достоевскнй психологъ — одинъ и тотъ же на разстояннн всей своей литературной дѣятельности. Скажемъ больше: онъ все время писалъ объ одномъ и томъ же. О чемъ же именно? Многне затрудняются отвѣтить на этотъ вопросъ: критики признають, что нѣтъ области въ наукѣ или жизни, для которой нельзя было бы почерпнуть идей изъ его твореннй. Всѣ, даже ожесточенные враги автора, признають его изумительно-вѣрный психическнй анализъ, но обобщення его твореннй я не встрѣчалъ и потому предлагаю свое собственное.

Та объединяющая всѣ его произведення идея, которую многне тщетно ищуть, была не патріотизмъ, не славянофильство, даже не религня, понимаемая, какъ собранне догматовъ, — эта идея была изъ жизни внутренней, душевной — личной; она была не посылкой, не тенденцней, но просто центральной *темой* его повѣсти, она есть живая, близкая всякому, его собственная дѣйствительность. *Возрожденне* — вотъ о чемъ писалъ Достоевскнй во всѣхъ своихъ повѣстяхъ; покаянне и возрожденне, грѣхонаденне и исправленне, а если нѣтъ, то ожесточенное самоубнйство: только около

этихъ настроеній вращается вся жизнь всѣхъ его героевъ и лишь съ этой точки зрѣнія интересуется самъ авторъ различными богословскими и социальными вопросами въ послѣднихъ публицистическихъ произведеніяхъ. Да, это то священное трепетаніе въ человѣческомъ сердцѣ зачатковъ новой жизни, жизни любви и добродѣтели, которое такъ дорого, такъ усладительно для всякаго, что побуждаетъ и самого читателя вмѣстѣ съ героями повѣстей переживать почти реально волнующія ихъ чувства,—эта подготовляющаяся постепенно, но иногда мгновенно возстающая предъ сознаніемъ рѣшимость отбросить служеніе себялюбію и страстямъ, тѣ мучительныя страданія души, коими оно предваряется и сопровождается, этотъ крестъ благоразумнаго разбойника или напротивъ разбойника хулителя,—вотъ что описывать Достоевскій, а читатель уже самъ выводитъ отсюда, если не желаетъ противиться разуму и совѣсти, что между двумя различными крестами непремѣнно долженъ быть третій, на который одинъ разбойникъ уповаетъ и спасается, а другой изрыгаетъ хулы и погибаетъ. „Бѣдные Люди“, „Подростокъ“, герой „Мертваго Дома“, герои „Бѣсовъ“, Раскольниковъ и Соня, супруги Мармеладовы, Нелли и Алѣша со своимъ безобразнымъ отцомъ, Семья Карамазова и ихъ знакомыя женщины и дѣвушки, монахи и многочисленные типы дѣтей—вся эта масса людей добрыхъ, злыхъ и колеблющихся, по равно дорогихъ сердцу автора, разрывающемуся отъ любви, поставлены имъ предъ вопросомъ о жизни и разрѣшаютъ его въ томъ или иномъ видѣ, а если уже разрѣшили, то помогаютъ разрѣшать другимъ. Одни, напр. Нечочка Незванова и ея Катя, Поленька Мармеладова, Маленькій Герой, „Мальчикъ у Христа на Елкѣ“, отчасти Нелли, а особенно Коля Красоткинъ и Илюша съ товарищами разрѣшаютъ его въ дѣтствѣ; другіе, какъ „Подростокъ“, Наташа въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, Раскольниковъ съ Соней, Димитрій Карамазовъ со Смердяковымъ, мужъ „Кроткой“ и счастливый соперникъ „Вѣчнаго Мужа“ и всѣ почти женскіе типы патаккиваются на него въ молодости или при вступленіи въ бракъ; наконецъ, этотъ-же вопросъ застаётъ людей иногда въ преклонные годы, напр. Макара Дѣвушкина, „Смѣшнаго Человѣка“, родителя Наташи и его врага князя, Мармеладовыхъ, Вер-

силова въ „Подросткѣ“ и Верховенскаго — отца въ „Бѣсахъ“. Уклониться отъ этого вопроса никто не можетъ въ жизни или по крайней мѣрѣ предъ смертью. Высокое достоинство писателя, изображающаго муки и радости духовнаго возрожденія человѣка, заключается въ томъ именно, что онъ посредствомъ своего всепроникающаго анализа опредѣлитъ и тѣ важнѣйшія духовныя свойства и движенія, въ условіяхъ которыхъ происходитъ нравственное возрожденіе, и тѣ внѣшнія, т. е. отъ него получаемыя, жизненные побужденія, коими человѣкъ призывается къ самоуглубленію. Если свести къ общимъ понятіямъ всѣ части повѣстей Достоевскаго, разсматривающія этотъ предметъ, или говоря точнѣе—всѣ повѣсти автора, ибо онѣ всѣ цѣликомъ только этотъ предметъ и обслѣдуютъ: то мы получимъ совершенно ясную и въ высшей степени убѣдительную теорію, въ которой хотя почти и нѣтъ словъ: благодать, Искупитель, по гдѣ эти понятія постоянно требуются самою логикой вещей. Отсюда ясно, какой живой интересъ должны возбуждать труды Достоевскаго съ точки зрѣнія богословія нравственнаго и особенно богословія пастырскаго. Почему же Пастырскаго? А именно потому, что Достоевскій, не ограничиваясь, какъ сказано, описаніемъ внутренней жизни возрождаемыхъ, съ особенною силою и художественною красотою описываетъ характеръ тѣхъ людей, которые содѣйствуютъ возрожденію ближнихъ. Пастроеніе его собственнаго творческаго духа при описаніи жизни есть именно то, которое нужно имѣть пастырю, т. е. всеобъемлющая любовь къ людямъ, пламенная, страдающая ревность объ ихъ обращеніи къ добру и истинѣ, раздирающая скорбь о ихъ упорствѣ и злобѣ и при всѣмъ томъ свѣтлая надежда на возвращеніе къ добру и къ Богу всѣхъ отпавшихъ сыновъ. Эта надежда на всепобѣждающую силу христіанской истины и христіанской любви, подтверждаемая написанными у автора картинами, на которыхъ предъ непобѣдимымъ оружіемъ Христовымъ преклоняется самое ожесточенное беззаконіе, есть надежда поистинѣ святая, апостольская. Особенно важно то, что надежда эта живетъ не въ умѣ ребенка или сентиментальнаго баловня жизни, но въ душѣ много пострадавшей, видѣвшей много грѣха и много невѣрія. Мы будемъ говорить о возрожденіи по Достоевскому съ точки

зрѣнія Богословія Пастырскаго, а не Нравственнаго, т. е. о возрождающемъ вліяніи одной воли на другую, а описанія самаго субъективнаго процесса возрожденія будемъ касаться лишь настолько, насколько это окажется пужнымъ для этой первой задачи. Первый вопросъ: каковъ долженъ быть возрождающій? второй—кто можетъ содѣйствовать возрожденію и насколько? Третій—какъ переходить унодобленіе одной воли другой?

III. Служеніе возрожденія.

Посредствомъ какихъ свойствъ духа человѣкъ становится участникомъ этого наивысшаго служенія? Отвѣтъ на этотъ вопросъ писатель даетъ или отъ своего лица (напр. въ „Снѣ Смѣшнаго Человѣка“), или исповѣдуетъ отъ лица своихъ героевъ общія побужденія, вызывающія избранника на проповѣдь возрожденія.

Познаніе истины и сострадающая любовь—вотъ главнѣйшія побужденія къ проповѣди. Писатель какъ будто видѣлъ рай Божій и созерцалъ въ немъ возрожденныхъ людей, чистыхъ и блаженныхъ, освободившихся отъ всѣхъ противорѣчій жизни совершенно скоро и просто. Съ этихъ то высотъ общаго духовнаго блаженства взираетъ онъ на міръ грѣшный и скорбный, и въ стремительномъ порывѣ любви и слова тичится вознести его къ небу; любовь эта и вѣра такъ сильна, что всѣ людскія насмѣшки безсильны предъ ними: „они называютъ меня сумасшедшимъ... Но теперь ужъ я не сержусь, теперь всѣ мнѣ милы и даже когда они смѣются надо мною... Я бы самъ смѣлся съ ними—не то что надъ собой, а ихъ любя, если бъ мнѣ не было такъ грустно на ихъ глядя. Грустно потому, что они по знаютъ истины, а я знаю истину. Охъ, какъ тяжело одному знать истину! Но они этого не поймутъ, нѣтъ, не поймутъ“ (XI, 118; изд. 1891 г.). Мучительно знаніе истины, когда любишь людей, не знающихъ ея, по эта мука, эта грѣховная тѣма міра еще увеличивали любовь къ людямъ. Къ послѣдней мысли Достоевскій возвращается часто и съ особенной силой, противопоставляя при этомъ наличное грѣховное состояніе міра представляемому невинному состоянію.

.... „Несчастливая, бѣдная, но дорогая и вѣчно любимая, и такую же, мучительную любовь рождающая къ себѣ въ самыхъ неблагодарныхъ даже дѣтяхъ своихъ, какъ и наша?... вскрикивалъ я, сотрясаясь отъ неудержимой, восторженной любви къ той родной прежней *землѣ*, которую я покинулъ“. (XI, 127. „Сонъ Смѣшнаго Человѣка). На нашей землѣ мы истинно можемъ любить лишь съ мученіемъ и только чрезъ мученіе! Мы иначе не умѣемъ любить и не знаемъ иной любви. Я хочу мученія, чтобъ любить. Я хочу, я жажду, въ сію минуту цѣловать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставилъ и не хочу, не принимаю жизни ни какой иной!“ (ibid., 132). „Явились праведники, которые приходили къ этимъ людямъ со слезами и говорили имъ объ ихъ гордости, о потерѣ мѣры и гармоніи, объ утратѣ ими стыда. Падъ ними смѣялись или побивали ихъ камнями. Святая кровь лилась на порогахъ храмовъ. За то стали появляться люди, которые начали придумывать: какъ бы всѣмъ вновь такъ соединиться, что бы каждому, не переставая любить себя больше всѣхъ, въ то же время не мѣшало никому другому, и жить такимъ образомъ всѣмъ вмѣстѣ какъ бы и въ согласномъ обществѣ. Цѣлыя войны поднялись изъ за этой идеи. Всѣ воюющіе твердо вѣрили въ то же время, что наука, премудрость и чувство самосохраненія заставляютъ, наконецъ, человѣка соединиться въ согласное и разумное общество, а потому пока, для ускоренія дѣла „премудрые“ старались поскорѣе истребить всѣхъ „непремудрыхъ“ и не понимающихъ ихъ идею, что бы они не мѣшали торжеству ея. Но чувство самосохраненія стало быстро ослабѣвать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего. Для пріобрѣтенія всего прибѣгалось къ злодѣйству, а если оно не удавалось, — къ самоубійству. Явились религіи съ культомъ небытія и саморазрушенія ради вѣчнаго успокоенія въ ничтожествѣ. Наконецъ, эти люди устали въ безсмысленномъ трудѣ, и на ихъ лицахъ появилось страданіе, и эти люди провозгласили, что страданіе есть красота, ибо въ страданіи лишь мысль. Они воспѣли страданіе въ пѣсняхъ своихъ“ (ibid.). — Эта любовь, нѣжная любовь автора къ грѣшной землѣ выражается между прочимъ въ томъ, что онъ всегда умѣетъ одѣть въ

симпатичный костюмъ самую прозаическую обстановку самаго прозаическаго города въ Россіи, о которомъ говоритъ другой поэтъ:

„Сводъ небесъ зеленоблѣдный,
„Скука, холодъ и гранитъ.

Когда Достоевскій описываетъ Петербургскіе грязные дворы, дворниковъ, кухарокъ, квартирныхъ хозяекъ, помѣщеніе интеллигентнаго пролетаріата и даже надшихъ женщинъ, то у читателя не только не образуется презрительнаго отвращенія ко всѣмъ этимъ людямъ, но напротивъ какая то особенно сострадательная любовь, какая то надежда на возможность всѣ эти убогіе притоны нищеты и порока огласить хвалебными гимнами Христу и въ этой, именно въ самой этой обстановкѣ создать теплую атмосферу пѣжной любви и радости. Здѣсь и объясненіе тому, что, не закрывая глазъ отъ мрачной дѣйствительности, писатель такъ крѣпко любитъ жизнь по свѣтлой надеждѣ на ея возрожденіе, жизнь именно человѣка; не лишенный любви къ природѣ, онъ просто не успѣваетъ говорить о природѣ и картины городского быта предпочитаетъ всякимъ другимъ. „Мрачная это была исторія, одна изъ тѣхъ мрачныхъ и мучительныхъ исторій, которыя такъ часто и непримѣтно, почти таинственно сбываются подъ тяжелымъ петербургскимъ небомъ, въ темныхъ потаенныхъ уголкахъ огромнаго города. среди взбалмошнаго кипѣнія жизни, тупаго эгоизма, сталкивающихся интересовъ уличнаго разврата, сокровенныхъ преступленій, среди всего этого кроваваго ада безсмысленной и ненормальной жизни“ (IV, 162). Опредѣляя такъ мрачно жизнь, онъ однако потомъ смотритъ на все ея зло, какъ на недоразумѣніе (XI, 1) и пишетъ статью „О томъ, что всѣ мы хорошіе люди“ (X, 45—46). Потому ли „хорошіе люди“, что ихъ такъ легко обратить къ истинѣ? Иѣтъ, обратить ихъ трудно, но сама истина такъ прекрасна, сама любовь такъ привлекательна, что какъ бы ни былъ тяжелъ подвигъ ея проповѣдника, но другаго подвига, другаго содержанія для жизни не пожелаетъ тотъ, кто понялъ таинство жизни, кто возлюбилъ людей. Это высокое настроеніе проповѣдника авторъ представляетъ въ данномъ разсказѣ плодомъ мисти-

ческаго озаренія, въ другомъ случаѣ оно посѣщаетъ умирающаго отъ чахотки юношу, наконецъ въ полнотѣ раскрыто это настроеніе въ бесѣдахъ старца Зосима. Избранникъ неба настолько проникается своимъ призваніемъ, настолько тѣсно сливается свою жизнь съ дѣломъ проповѣди и возрожденія людей, что всѣ недостатки, всѣ грѣхи ихъ считаетъ своими собственными, какъ доказывающіе его недостаточную ревность, отсутствіе въ немъ мудрости и святости, и вотъ почему онъ считаетъ себя виноватымъ за всѣхъ и во всемъ, готовъ даже и считать именно себя первоначальнымъ искушителемъ и соблазнителемъ человечества, какъ герой „Сна Смѣшпаго Человѣка“, — готовъ принять муки за всѣхъ, какъ объясняетъ старецъ Зосима. Таковъ высокій смыслъ этой часто повторяемой мысли Достоевскаго относительно общей виновности за всѣхъ и во всемъ, мысли, увы такъ грубо непонятой и опошленной нѣкоторыми изъ многихъ неудачныхъ его толкователей. — Но обобщимъ сказанное о дарѣ духовнаго возрожденія: этотъ даръ достигается тѣми, кто 1) познавъ внутреннимъ опытомъ сладость истины и общенія съ Богомъ, 2) возлюбилъ такъ много жизнь со скорбью и надеждой, что 3) совершенно потерялъ нить своей личной жизни и умеревъ себя, 4) не чрезъ искусственную проповѣдь, но чрезъ исповѣдь, чрезъ раскрытіе своего сердца и чрезъ всю свою жизнь призываетъ братій къ покаянію и любви. Таковъ у Достоевскаго старецъ Зосима, таковъ и ученикъ его Алеша, въ своей столь многосодержательной жизни, какъ бы не имѣющій никакой собственной жизни и не знающій сегодня, что онъ будетъ дѣлать завтра, по всюду пасажающій вокругъ себя миръ, раскаяніе и любовь: братья, дѣти и женщины—все смирается въ присутствіи его любви, какъ звѣри подъ звуки Ореевой ары, и вся его жизнь сливается въ чудное единство Христова дѣла. Такъ и Макарь Ивановичъ въ „Подросткѣ“, старикъ-странникъ и въ то же время моралистъ-философъ, горячо любящій людей и пекущійся объ общемъ спасеніи; упоминается о такомъ человѣкѣ (живущемъ на покоѣ Епископѣ Тихонѣ) и въ романѣ „Бѣсы“.

IV. Служители возрожденія и любви.

Кто эти служители? Мы сейчас видѣли, что для изображенія ихъ приводится типъ не только религіозный но и прямо церковный; оно и понятно не съ догматической только, ни и съ чисто психологической точки зрѣнія: что бы живя среди юдоли грѣха и страданія, знать иную жизнь опытомъ собственнаго сердца, пужно знать ее, не какъ только мистическое отвлеченіе, но какъ реально, дѣйствующую и помимо меня существовавшую, а слѣдовательно *непрерывно-историческую силу*, т. е. надо знать Церковь, которая научаетъ вѣрять въ свою неодолимость адowymi вратами; надо жить въ Церкви.—Но что сказать о тѣхъ людяхъ, которые причастны одному изъ этихъ свойствъ призваннаго проповѣдника, но не успѣли доразвиться до полного, гармоническаго развитія остальныхъ? Отвѣтъ — и такимъ людямъ отчасти суждено имѣть вліяніе на ближнихъ, хотя далеко не столь полное и не столь широкое. Его не лишены даже тѣ существа, которыя, не обладая положительными свойствами избранника, свободны по крайней мѣрѣ отъ противоположныхъ имъ, по присущихъ всякому естественному человѣку пороковъ, т. е. прежде всего гордости и холодной самозамкнутости, или какъ выражается авторъ *отъединенности*. Таковы прежде всего дѣти и даже младенцы. Да дѣти у Достоевскаго получаютъ всегда значеніе произвольныхъ миссіонеровъ. Эту мысль Достоевскій воспроизводитъ такъ часто въ различныхъ повѣстяхъ, что его было бы можно обвинить въ повтореніяхъ, если бъ онъ не умѣлъ въ каждый такъ-сказать варіантъ этой идеи вложить новую черту, какъ новый перлъ въ великолѣпную діадиму. Дитя подкидывшъ понуждаетъ „Подростка“ откинуть свою горделивую идею ради состраданія къ его беззащитности, дитя смягчило злое, черствое сердце купца-фарисея въ рассказѣ Макара Пвановича (Пов.: „Подростокъ“), дитя Нелли примиряетъ оскорбленнаго отца съ падшею дочерью, дитя Поленька смягчаетъ убійцу Раскольникова и т. д. Наконецъ, въ послѣднія минуты жизни богопротивныхъ самоубійцъ, когда духъ ихъ окончательно возсталъ противъ Господа, Промыслъ ставитъ предъ ними на-яву,

или даже въ горячечномъ бреду, облики невинныхъ страждущихъ малютокъ, которыя то на время отторгаютъ ихъ отъ злбнаго замысла, то вполне возвращаютъ ихъ къ покаянію и жизни. Такова встрѣча нищаго ребенка въ „Снѣ Смѣшнаго Человѣка“ и такая же встрѣча въ бреду самоубійцы Свидригайлова („Преступленіе и Наказаніе“), или новорожденное дитя у Шатова въ „Бѣсахъ“. Чистота, смиреніе дѣтей, и особенно при ихъ беззащитности и страданіи, пробуждаютъ временную любовь даже въ злѣяхъ. Невѣрующіе, какъ Иванъ Карамазовъ, въ дѣтскихъ страданіяхъ видятъ причины къ пессимистическому ожесточенію, а вѣрующіе, напротивъ,—къ примиренію и всепрощенію, какъ отецъ Ильюши (въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“), простившій врага Димитрія ради страданій умирающаго малютки, котораго онъ любилъ больше всего на свѣтѣ. Самъ авторъ въ разсказѣ: „Мальчикъ у Христа на Елкѣ“ раскрываетъ очевидно такую мысль: если здѣсь страдаютъ даже невинныя дѣти, то конечно есть иной лучшій міръ.— Но какое же практическое значеніе можетъ имѣть для насъ указаніе на дѣтей? Что значать дѣти для Пастырскаго Богословія? Они значать то же, что Христовы слова: *„если не обратитесь и не будете какъ дѣти, не войдете въ царство небесное“* (Мат. 18, 3). У дѣтей чистота и отсутствіе самолюбія, этой причины общей отъединенности, у нихъ нѣтъ разницы между жизнію внутреннею и внѣшними проявленіями. Не желая сознательно вліять на ближнихъ, они безсознательно достигаютъ большаго вліянія, чѣмъ взрослые, чуждые чистоты и открытости. Отъединенный погибающій человѣкъ ищетъ среди ближнихъ такого сердца, съ которымъ бы могъ сразу сродниться, слиться, которое бы не было ему чужимъ: таково сердце дѣтей—этихъ всегдашнихъ космополитовъ.

Но не имѣютъ ли взрослые тѣхъ же свойствъ — непосредственнаго смиренія, чистоты, открытости и сердечной общедоступности? Все это встрѣчается у *людей изъ народа*, и тогда они являются миссіонерами, еще сильнѣйшими: сразу становится такой человѣкъ близкимъ, роднымъ для каждаго и свободно можетъ переливать въ него содержаніе своей души, не опасаясь со стороны научаемаго горделиваго соперничества; таковъ „Мужикъ Морей“, Макарь

Ивановичъ, Лукерья (въ „Кроткой“) и др. „Прежде всего привлекала въ немъ (въ Макарѣ Ивановичѣ), какъ я уже и замѣтилъ выше, его чрезвычайное чистосердечіе и отсутствіе малѣйшаго самолюбія; предчувствовалось почти безгрѣшное сердце. Было „веселіе“ сердца, а потому „благообразіе“. Слово „веселіе“ онъ очень любилъ и часто употреблялъ. Правда, находила иногда на него какая то, какъ бы болѣзненная восторженность, какая то, какъ бы болѣзненность умиленія,—отчасти, полагаю, и оттого, что лихорадка, по настоящему говоря, не покидала его во все время; но благообразію это не мѣшало. Были и контрасты: рядомъ съ удивительнымъ простодушіемъ, иногда совершенно не примѣчавшимъ ироніи (часто къ досадѣ моей), уживалась въ немъ и какая то хитрая тонкость, всего чаще въ полемическихъ спибкахъ. А полемику онъ любилъ, но иногда лишь ее своеобразно: видно было, что онъ много исходилъ по Россіи, много переслушалъ, но, повторяю, больше всего онъ любилъ умиленіе, а потому и все на него наводящее, да и самъ любилъ рассказывать занимательныя вещи“ (VIII, 379).

Указывая эту способность представителей народа, мы должны оградить нашего великаго писателя отъ тѣхъ обвиненій въ проповѣди невѣжества и суевѣрій, которыя весьма настойчиво и столь же неискренно бросались въ него со стороны литературныхъ враговъ. — Его учителя изъ народа или изъ монаховъ всегда любители науки, и даже наукъ мірскихъ и не унижаютъ достоинства послѣднихъ: Макаръ Ивановичъ даже телескопъ знаетъ. Самъ Достоевскій вотъ что говоритъ въ „Дневникѣ Писателя“ объ образованіи и о необходимости распространять его въ народѣ. „Образованность и теперь уже занимаетъ у насъ первую ступень въ обществѣ. Все уступаетъ ей; всѣ словесныя преимущества, можно сказать, таютъ въ ней... Въ усиленномъ, въ скорѣйшемъ развитіи образованія—вся наша будущность, вся наша самостоятельность, вся сила, единственный сознательный путь впередъ и что важнѣе всего, путь мирный, путь согласія, путь къ настоящей силѣ.... Только образованіемъ можемъ мы завалить и глубокій ровъ, отдѣляющій насъ теперь отъ нашей родной почвы. Грамотность и усиленное распространеніе ся—пер-

вый шагъ всякаго образованія“ (IX, 101. 102). „Подростку“ идеалисту вотъ что пишетъ онъ рукой его воспитателя: „Мысль о поступленіи вашемъ въ Университетъ въ высшей степени для насъ благотворна. Наука и жизнь несомѣнно раскроютъ въ три-четыре года еще шире горизонты мыслей и стремленій вашихъ, а если и послѣ Университета пожелаете снова обратиться къ вашей идее, то ничто не помѣшаетъ тому“. — Очевидно не невѣжество народа хвалится у Достоевскаго, а свобода его лучшихъ людей отъ лживой самозамкнутости и болѣзненного самолюбія, этихъ злѣйшихъ враговъ нашего возрожденія, увы незамѣчательныхъ культурною поикой и культурнымъ воспитаніемъ. Цѣня науку и образованіе, Достоевскій велитъ учиться у народа, но не въ смыслѣ полнаго обособленія русской жизни отъ Европы, а въ цѣляхъ во-первыхъ нравственныхъ, а во вторыхъ и общекультурныхъ, міровыхъ. Европейская культура, проникнутая мотивомъ самолюбія, не сближаетъ, но разъединяетъ, внутренне отчуждаетъ людей и народы. Способность истиннаго духовнаго объединенія со всѣми имѣетъ лишь тотъ, кто смиренъ сердцемъ. А такъ какъ смиреніе въ Россіи не есть черта личностей только, но черта народная, т. е. впитываемая въ индивидуумы народною культурой, выросшей изъ православія, изъ православнаго аскетизма, то и способность духовнаго общенія имѣетъ весь русскій народъ. Последняя выразилась въ гениіи Пушкина, умѣвшаго художественно перевоплощаться во всѣ народности, чего не могъ дѣлать ни Шекспиръ, ни Шиллеръ. Въ этомъ содержаніе знаменитой „Пушкинской Рѣчи“ Достоевскаго и вообще его ученія о всечеловѣческой миссіи русскаго народа. О ней говорить мы не будемъ, но упомянемъ для подтвержденія той мысли, что соціальныя и философскія взгляды Достоевскаго вытекаютъ изъ морально-психологическихъ наблюдений и фактовъ, а не предшествуютъ имъ. Возвратимся къ разсмотрѣнію жизни личной. Прежде чѣмъ перейти къ описанію того, какъ смиреніе и любовь могутъ по Достоевскому обращать грѣшниковъ и насаждать царство Божіе, докончимъ еще обзоръ характера его миссіонеровъ: послѣ служителей Церкви, дѣтей и крестьянъ, онъ призываетъ къ этому дѣлу женщинъ. Женщина любящая, но и смиренная — великая сила. Любовь,

но лишняя смирения, производить семейную муку и горе, такъ что чѣмъ сильнѣе эта любовь, не къ мужу только, но и къ дѣтямъ, тѣмъ больше отъ нея зла, — если нѣтъ въ ней смирения. Отъ любви гордой измѣна и запой мужей, самоубійство жениховъ и страданія дѣтей: любовь Катерины Ивановны — невесты („Братья Карамазовы“) и Катерины Ивановны — матери и жены („Преступленіе и Наказаніе“); любовь Лизы дочери и невесты, любовь Грушеньки „Кроткой“ или Нелли („Униженные и Оскорбленные“), Кати („Неческа Незванова“), жены Шатова („Бѣсы“) и всѣхъ вообще гордыхъ натуръ, есть источникъ зла и ненужныхъ, страданій. Напротивъ, любовь смиренныхъ и самоуниженныхъ — источникъ мира и покаянія. Таковы мать Раскольниковъ и Соня, которую даже арестанты начали обожать, угадавъ въ ней сердце смиренное и сокрушенное; такова мать Паташи („Униж. и Оскор.“) и мать „Подростка“, безполая сестра Илюши (Братья Карам.), „Неческа Незванова“, мать Алеша Карамазова и мн. др. Онѣ не стремятся съ силою настаивать на своемъ, но любовью, слезами, всепрощеніемъ и молитвой почти всегда добиваются покаянія и обращенія любимыхъ ими мужей, родителей и дѣтей. На трудномъ шагѣ отреченія отъ прежней жизни ихъ любимцы и любимцы вдохновляются примѣромъ этого постоянного самоотреченія, какъ бы впитываютъ въ себя силу къ самоотреченію, а любовь исполненнаго смирения существа дѣлаетъ самый подвигъ прежняго гордеца сладостнымъ. —

Пятымъ миссіонеромъ у Достоевскаго является самъ возрожденный *въ своихъ страданіяхъ*.

„*Страдающій плотию перестаетъ грѣшить*“, сказалъ Апостолъ (1 Петр. 4, 1). Всѣ почти случаи обращенія и раскаянія героев Достоевскаго происходятъ во время или тяжелыхъ утратъ, или болѣзней. Разъяснять ту мысль, что „если внѣшній нашъ человекъ и тлѣетъ, то внутренній со дня на день обновляется“ (2 Кор. 4, 16), мы не будемъ, ибо она слишкомъ знакома всѣмъ читавшимъ Божественное Писаніе. Практическій отсюда выводъ собственно для пастырей тотъ, что не нужно съ ужасомъ и ропотомъ смотрѣть на окружающія страданія чужія и собственные. Мысль эта вообще примиряетъ человѣка съ жизнью, успо-

ковается при видѣ упорства торжествующей злобы, которая всетаки нѣкогда въ страданіяхъ своихъ даетъ доступъ покаянію, а также примиряется и съ пераскайностью страдалыцевъ при свѣтлой надеждѣ на будущее ихъ обращеніе, ибо „старое горе жизни человѣческой переходитъ постепенно въ тихую умиленную радость“, какъ говорилъ умирающій отецъ Зосима. Въ страданіяхъ, такъ чудесно постигающихъ человѣка въ самыя опасныя минуты его жизни, проповѣдникомъ покаянія является самъ Господь, какъ неожиданный помощникъ отчаивающихся друзей грѣшника. Истощивъ всѣ усилія къ его обращенію, послѣдніе вдругъ получаютъ желаемое, но не отъ себя, а отъ руки Божіей. Такое дивное просвѣщеніе съ особенною силою описано въ лицѣ Верховенскаго отца и юнаго брата старца Зосимы. — Идея весьма реальная и въ высшей степени живительная для служителей Бога и любви Его, призывающихъ ихъ къ терпѣнію, смиренію и молитвѣ по слову Апостола: *„я насадилъ, Аполосъ поливалъ, но возрастилъ Богъ. Посему и насаждающій и поливающій есть ничто, а все Богъ возвращающій“* (1 Кор. 3, 6. 7). Таковъ окончательный отвѣтъ на второй нашъ вопросъ.

V. Просвѣтительное вліяніе одной воли на другую. *Любовь и смиреніе.*

Теперь намъ предстоитъ изложить самое возрожденіе человѣка по Достоевскому со стороны воздѣйствія одной воли на другую. Нашъ писатель имѣетъ вполнѣ сознательный взглядъ на этотъ предметъ; онъ не ограничивается художественно-вѣрнымъ, но безпристрастнымъ описаніемъ двухъ-трехъ случаевъ обращенія, какъ Левъ Толстой въ своихъ двухъ послѣднихъ романахъ, гдѣ герои въ родѣ Левина, Безухова и Болконскаго, подъ весьма неопредѣленными вліяніями приходятъ къ неопредѣленнымъ же результатамъ, установившись твердо только въ осужденіи прежняго себялюбія и въ рѣшимости слѣдовать сострадательному чувству. Правда, и въ этомъ есть немалая художественно-философская заслуга, такъ что и самъ Толстой смотритъ на подобные типы, какъ на главнѣйшіе въ своемъ творествѣ, но

опи въ его толстыхъ романахъ, какъ двѣ-три пахучихъ фіалки въ огромномъ букетѣ красивыхъ, но лишенныхъ запаха цвѣтовъ: у Достоевскаго же, какъ сказано, всѣ и первостепенные, и второстепенные герои вращаются около своей совѣсти и призыва къ покаянію и обновленію, какъ множество планетъ по разнымъ орбитамъ кружатся вокругъ одного солнца. Прибавимъ теперь, что поразительное богатство содержанія его многочисленныхъ повѣстей создается не разнородностью типовъ и не разностью описываемыхъ областей ихъ внутренней жизни, нѣтъ, — его планеты не многочисленны и орбиты круговращеній остаются однѣ и тѣ же, но художникъ, рисуя въ разныхъ повѣстяхъ и въ различныхъ лицахъ одни и тѣ же типы, измѣняетъ ихъ положеніе на жизненной орбитѣ, т. е. при обращеніи ихъ къ нравственному солнцу то одними, то другими сторонами. Одинъ и тотъ же характеръ, но въ разныхъ положеніяхъ и возрастахъ, на различныхъ ступеняхъ своего обращенія, или напротивъ—ожесточенія, проходитъ у него сквозь десятокъ повѣстей, такъ что Раскольниковъ — это тотъ же Иванъ Карамазовъ, Старый Князь „Униженныхъ“ тотъ же Оедоръ Павловичъ Карамазовъ и Версиловъ, мать Раскольникова и мать „Подростка“, отецъ послѣдняго и Ставрогинъ „Бѣсовъ“, мужъ „Кроткой“ и мужъ Акулькины въ „Мертвомъ Домѣ“, и т. д., и т. д. — все это варианты нѣсколькихъ немногихъ типовъ. Сюжетовъ съ завязкой и развязкой у Достоевскаго тоже немного, пайдется ли полтора десятка сюжетовъ и типовъ — едвали. И если при всемъ томъ читатель не только не замѣчаетъ повтореній и не испытываетъ скуки при чтеніи его повѣстей, а напротивъ, тѣмъ болѣе заинтересовывается ими, чѣмъ болѣе уже успѣлъ ихъ пересчитать: то ясно, что сказавшеся въ этомъ разнообразіи матеріала такое поочередное сочетаніе всѣхъ типовъ со всѣми стадіями духовнаго развитія, эта своего рода таблица умноженія многочлена на многочленъ, исполнена авторомъ непогрѣшительно: иначе говоря—онъ сумѣлъ съ полною жизненною правдой изобразить всю лѣстницу духовной борьбы при томъ и другомъ направленіи воли у каждаго своего типа, а это дается лишь тому, кто совмѣщаетъ въ собѣ художника со знатокомъ законовъ описываемыхъ явленій, т. е. психолога и даже теолога. Для чи-

тателя, желающаго провѣрить автора, полнота, его сочиненій представляетъ особое удобство, потому что совершенно избавляетъ его отъ подозрѣнiя случайнаго, индивидуальнаго характера тѣхъ или другихъ переломовъ во внутренней жизни литературныхъ героевъ, но придаетъ основоположенiямъ автора просто математическую убѣдительность: если всѣ характеры различныхъ возрастовъ, половъ и положенiй, отнесясь такимъ то образомъ къ извѣстному призыву жизни, пришли къ полной внутренней гармонiи и стали всюду вносить счастье и любовь, отнесясь же противоположнымъ образомъ, стали на дорогу къ самоубiйству, а со средняго пути были противъ воли сталкиваемы строемъ собственной природы: то понятно и математически неопровержимо, что первый путь есть путь правильный, единственно спасительный и т. д. Такая же опредѣленность воззрѣнiй устанавливается Достоевскимъ въ занимающемъ насъ вопросѣ о возрождающемъ влiянiи одной воли на другую, и не трудно будетъ убѣдиться, что въ основанiи такой увѣренной опредѣленности авторъ располагаетъ нѣкоторыми теологическими и метафизическими идеями хотя, какъ сказано, не подчиняетъ имъ дѣйствительности, но выводитъ первыя изъ послѣдней, или даже самъ не выводитъ, а безсознательно руководясь ими въ своей творческой работѣ, уполномочиваетъ на такiе выводы самихъ читателей.

Начиная рѣчь о влiянiи одной воли на другую, надо дать себѣ отчетъ въ томъ, насколько такая теорiя не противорѣчитъ ученiю о свободной волѣ. Отвѣтъ заключается въ томъ, что настроенiе и дѣятельность человека опредѣляется не однимъ только сознательно принятымъ направлениемъ его воли, но и послѣдствиемъ его прежнихъ дѣянiй, составляющихъ его „вторую природу“, а равно и первичными свойствами этой природы. Правда, воля человека, сознательно борясь противъ лучшихъ свойствъ своей собственной природы и противъ сложившихся наывыковъ воспитанiя, можетъ современемъ подавить ихъ и сдѣлать человека демономъ, но такое печальное явленiе возможно лишь, какъ конечный плодъ парочитой упорной борьбы,—обыкновенный же грѣшникъ, поддавшийся одной какой либо злой страсти, еще далекъ отъ такого ожесточенiя: у него, хотя бы въ устраненной отъ сознанiя области души, мерцаетъ

или по крайней мѣрѣ еще гложеть совѣтъ иное содержаніе, ему самому или вовсе невѣдомое, или неизвѣстное въ всей своей силѣ. Дѣло служителей Божіихъ въ томъ именно и заключается, чтобы вызывать наружу эти настроенія, хотя бы въ формѣ минутныхъ ощущеній, и тѣмъ показывать человѣку, что содержаніе его личности не только не чуждо добра и религіи, но по существу гораздо сродниѣе съ ними нежели съ тою злой страстію, которой онъ сейчасъ служить. Это, конечно, не есть насиліе надъ свободой, ибо, какъ сказано, человѣкъ и послѣ подобнаго просвѣтленія можетъ ожесточиться и возненавидѣть добро, какъ діаволь, но все онъ будетъ способенъ взглянуть на свою страсть извнѣ; между нею и новымъ содержаніемъ его жизни происходитъ рѣшительная борьба при ясномъ сознаніи неизбежнаго выбора одного содержанія предъ другимъ; какъ исцѣляемый бѣсноватый, человѣкъ становится между Христомъ и сатаною и конечно громадное большинство съ покаяніемъ обращается ко Христу. — Итакъ, миссіонеры жизни, не имѣя возможности сломить сознательную свободную волю человѣка, чего и самъ Богъ никогда не дѣлаетъ, получаютъ, однако, способность воздѣйствовать на нравственную природу человѣка, вызывая къ жизни и сознанію таинящихся въ ней добрыхъ ощущеній и удаляя злыя. Толкованія такого воздѣйствія и представляютъ собой центральный интересъ Пастырскаго Богословія.

И вотъ объ этой-то разности между сознательною индивидуальною волею и расположеніями нравственной природы (добрыми и злыми), постоянно дающими знать о себѣ даже и противъ желанія человѣка, Достоевскій умѣлъ говорить съ поразительной силою, особенно любя рисовать борьбу доброй природы со злою личной волей и побѣду первой надъ послѣднею. Правда, его повѣсти вмѣщаютъ въ себѣ и обратныя явленія, когда злая природа человѣка противъ желанія выступаетъ обвинителемъ quasi доброй воли, напр., въ разсказѣ „Двойникъ“, или въ явленіи бѣса Ивану Карамазову, но чаще мы находимъ побѣду доброй природы. Здѣсь, можно сказать, шедевръ его творчества, центральный вопросъ жизни его героевъ. Цѣнность этихъ картинъ мы познаемъ однако лишь тогда, когда припомнимъ, что авторъ вовсе не сентиментальный Ренанъ, по которому

всѣ люди собственно „душки“, — что у него каются не Захей по первому глаголу Божию и не Савлы, лишь по недоразумѣнью и невѣдѣнью преслѣдовавшіе христіанъ, но каются бѣсноватые Легіоны, каются именно Разбойники, долго не бывшіе *благоразумными*. Одинъ разъ, и другой и третій грѣшникъ отвергаетъ раскрываемый примѣромъ и любовію друзей путь покаянія, ожесточается, богохульствуетъ и всетаки оказывается, что добро въ концѣ концовъ плѣняетъ и такого, хотя авторъ не закрываетъ глазъ читателя предъ полною нераскаянностью многихъ въ этой жизни, оканчивающейся у нихъ самоубійствомъ. О, авторъ вовсе не забываетъ, что въ нашей падшей природѣ есть злой духъ: онъ подробно говоритъ въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ (III, 185) о томъ, что люди испытываютъ особенное наслажденіе мучить беззащитную невинность; его товарищи арестанты вовсе не кающіяся Магдалины, они говорятъ съ холоднымъ цинизмомъ о своихъ преступленіяхъ, но есть по Достоевскому и для нихъ якорь спасенія, есть еще надежда — надежда эта неизгладимая *совѣсть*. Вотъ главнѣйшее неустрашимое злою волею, хотя и скрываемое условіе для нравственнаго воздѣйствія. Совѣсть злодѣи усыпляютъ на яву, но она говоритъ во снѣ; ея голосъ подавляютъ въ сознательныхъ представленіяхъ, но она донимаетъ человѣка въ общихъ смутныхъ чувствахъ, возникающихъ по поводу представленій полусознательныхъ и понуждаетъ его войти въ себя. Въ послѣднемъ смыслѣ особенно интересна повѣсть: „Вѣчный Мужъ“. Одинъ гордый оболъститель мелькомъ увидѣлъ давно обманутаго имъ смѣшного мужа, не можетъ вспомнить его ясно, не помнитъ и своего любовнаго преступленія, но тяжелое давящее чувство тѣснить его грудь, какъ кошмаръ, мережится ему во снѣ и такимъ образомъ пробуждаетъ въ его душѣ всѣ тѣ скорбныя чувства, которыя онъ подавлялъ раньше, когда переживалъ сознательно борьбу съ ними. Такое же значеніе имѣетъ описываемый авторомъ мучительный сонный бредъ арестантовъ, старающихся убить свою совѣсть на яву (III, 15). — Вѣра именно въ силу совѣсти побуждаетъ лучшихъ героевъ Достоевскаго не довѣрять искренности атеистовъ и находить въ нихъ только желаніе совершенно отстраниться отъ Бога, а вовсе не убѣжденіе въ теорети-

ческой ложности религіозныхъ истинъ. „Безбожника—человѣка, сосредоточенно продолжалъ старикъ:—я, можетъ, и теперь побоюсь; только вотъ что, другъ Александръ Семеновичъ: безбожника то я совѣтъ не стрѣчалъ ни разу, а стрѣчалъ замѣсто его суетливаго—вокъ какъ лучше объявить его надо. Всякіе это люди; не сообразить какіе люди; и большіе и малые, и глухие и ученые, и даже изъ самаго простаго званія бываютъ, и все суета. Ибо читаютъ и толкуютъ весь свой вѣкъ, насытившись сладости книжной, а сами все въ недоумѣніи пребываютъ и ничего разрѣшить не могутъ. Иной весь раскидался, самого себя пересталъ замѣчать. Иной паче камене ожесточенъ, а въ сердцѣ его бродятъ мечты; а другой—безчувственъ и легкомысленъ и лишь бы ему насмѣшку свою отемѣять. Иной изъ книгъ выбралъ одни лишь цвѣточки, да и то по своему мнѣнію; самъ же суетливъ и въ немъ предрѣшенія нѣтъ. Вотъ что скажу опять: скуки много... Идолопоклонники это все, а не безбожники, вотъ какъ объявить ихъ слѣдуетъ.—Ну, а и безбожнику какъ не быть? Есть такіе, что и впрямь безбожники, только тѣ много пострашнѣй этихъ будутъ, потому что съ именемъ Божиимъ на устахъ приходятъ. Слышалъ неоднократно, но не стрѣчалъ я ихъ вовсе“ (VIII, 370. 371). Итакъ, невѣріе неискренно; вотъ почему обращеніе воли невѣрующихъ отъ зла къ добру даетъ имъ полную возможность сразу воспринять вѣру въ свое сердце, какъ Колѣ Красоткину или брату о. Зосимы. Просвѣтляющаяся подъ неуклоннымъ вліяніемъ добрыхъ любящихъ друзей совѣсть или внутренній голосъ, какъ мы видимъ, не только осуждаетъ поступокъ недобрый, но предлагаетъ сознанію какіе то, хотя и смутно различаемые, аккорды изъ иной, противоположной злу, жизни, или пережитой въ дѣтствѣ, или созерцаемой въ окружающихъ людяхъ. Просятся, рвутся въ душу эти аккорды, но человѣку дорога другая страсть, съ которой имъ не ужиться—онъ это знаетъ, и вотъ онъ старается себя убѣдить въ какомъ то особомъ, чуть ли не священномъ значеніи своей страсти—преимущественно гордости, связываетъ ее съ какимъ-либо высшимъ планомъ жизни, и такимъ то самообманомъ, къ которому относятся и всѣ почти виды религіознаго невѣрія, отбивается отъ любви и единенія съ

ближними и Богомъ. Въ этомъ смыслѣ дать признаніе Верховенскій отецъ въ „Бѣсахъ“ предъ смертію: „всего труднѣе въ жизни жить и не лгать, и собственной лжи не вѣрить“ (VII, 599). Таковъ же „Подростокъ“ и „Мужъ Кроткой“ со своими „великими идеями“,—мечтатели, зараженные желаніемъ гордой мести и потому рѣшившіеся разбогатѣть хотя бы цѣною обидъ и мученія ближнихъ; таковъ Верховенскій со своими социалистическими затѣями, Иванъ Карамазовъ съ эвдемонистическою теоріею (теперь буквально повторенною Пизше, котораго восхваляли наши Москвичи). — Итакъ, *гордость*, *ложь*, и возможность мучить или *насиліе* и *раздоръ*—вотъ враги обращенія людей къ Богу: гдѣ одно начало, тамъ и другое: ложь поддерживается въ обществѣ раздоромъ, порождая раздоръ, а сама порождается гордостью и, опираясь на нее, производитъ насиліе, — тутъ люди подпадаютъ уже подъ власть бѣсовъ. О бѣсахъ Достоевскій говоритъ слѣдующее. „Идея ихъ царства—раздоръ, т. е. на раздоръ они хотятъ основать его. Для чего же именно раздоръ имъ тутъ понадобился? А какже: взять уже то, что раздоръ страшная сила и самъ по себѣ; раздоръ послѣ долгой усобицы доводитъ людей до цѣлѣностей, до затѣнія и извращенія ума и чувствъ. Въ раздорѣ обидчикъ, сознавъ, что онъ обидѣлъ, не идетъ мириться съ обиженнымъ, а говоритъ: „я обидѣлъ его, стало быть, я долженъ ему отомстить“. Но главное въ томъ, что черти превосходно знаютъ всемірную исторію и особенно помнятъ про все, что на раздорѣ было основано. Имъ извѣстно, напримѣръ, что если стоять секты Европы, оторвавшіяся отъ католичества, и держатся до сихъ поръ, какъ религія, то единственно потому, что изъ-за нихъ пролита была въ свое время кровь“ (X, 39).—*Умирненіе, свобода и искренняя открытость души*—вотъ тѣ лѣкарства, которыя должны дать людямъ современные миссіонеры. Но дать, усвоить—не значитъ только показать въ видѣ холоднаго примѣра или доказательствъ. То и другое дѣйствуетъ на сознаніе извнѣ, а потому можетъ имѣть значеніе только на такое сознаніе, которое направлено къ исканію истины, все это можетъ *научить* человека, но не *обратить* его: сказано — не *persuadere nolenti* (не убѣждай нежелающаго), а вѣдь у насъ рѣчь то именно о послѣднемъ. Для такого

нужно прямое воздѣйствіе на его природу, чтобы бы не извнѣ, а изнутри возстала брань на его злую волю. Но существуетъ ли такая непосредственная связь въ природѣ разныхъ личностей? Да, она существуетъ по теоріи Достоевскаго и выражается въ томъ началѣ, которымъ возрожденная жизнь приписывается всецѣло и наполнить вселенную послѣ общаго суда и воскресенія. Начало это—христіанская любовь или нравственное состраданіе. Оно то въ повѣстяхъ нашего писателя, какъ физическая теплота или притяженіе, проникаетъ во все области жизни, не зная себѣ ни въ чемъ конечнаго препятствія. Медленно, но упорно пробивается она ледяную кору сердецъ и преобразуетъ внутреннюю природу ближнихъ просто своею собственною силою, даже безъ видимыхъ обнаруженій, создавая на днѣ ихъ душъ безсознательныя добрыя расположенія. Бьется и отвертывается отъ нея злая воля людей, думаетъ грѣшникъ, что онъ вовсе свободенъ отъ всякаго вліянія, какъ вдругъ принужденный обстоятельствами жизни взглянуть въ свой внутренній міръ, онъ находитъ въ себѣ ужъ другую природу, какъ бы вмѣщающую нравственные облики душъ, его любившихъ, за него страдавшихъ, о немъ молившихся. Правда, и теперь онъ можетъ вооружаться противъ своего же сердца, какъ самоубійца Свидригайловъ въ „Преступленіи и Наказаніи“, но всетаки обращеніе для него теперь доступно и легко, безконечно легче, чѣмъ новое ожесточеніе. Такой именно, почти невольный, духовный слѣдъ оставлялъ на всѣхъ любимѣйшій герой Достоевскаго Алеша Карамазовъ и при томъ не только и не столько путемъ передачи какихъ либо идей или фактовъ, но самымъ своимъ существованіемъ около нравственно-больныхъ людей въ родѣ обоихъ братьевъ своихъ, отчасти отца, дѣтей гимназистовъ и трехъ женщинъ. Все они чувствуютъ его сострадательную любовь, все знаютъ, что хотѣлъ бы онъ имъ сказать, отъ чего предостеречь и къ чему именно призвать: какъ бы нѣкая живительная вода орошаетъ сердца ихъ въ его присутствіи, кающіеся получаютъ въ немъ нравственную опору, а упорствующие и колеблющіеся, какъ мальчикъ Коля, старикъ отецъ и братъ Иванъ, мнутъ и сотрясаются подъ лучами его любви, какъ бѣсноватые, завидѣвъ Спасителя. Эту

именно мысль послѣ свиданія съ Иваномъ высказалъ Алеша. „Алеша, засыпая, помолился о Митѣ и объ Иванѣ. Ему становилась понятною болѣзнь Ивана: „Муки гордаго рѣшенія, глубокая совѣсть“! Богъ, Которому онъ не вѣрилъ, и правда Его одолевали его сердце, все еще не хотѣвшее подчиниться. „Да, неслось въ головѣ Алеши, уже лежавшей на подушкѣ,—да, коль Смердяковъ умеръ, то показанію Ивана никто уже не повѣритъ; но онъ пойдетъ и покажетъ?“ Алеша тихо улыбнулся: „Богъ побѣдитъ!“ подумалъ онъ. „Или возстанетъ въ свѣтѣ правды, или... погибнетъ въ ненависти; мстя себѣ и всѣмъ за то, что послужилъ тому, во чтѣ не вѣритъ“, горько прибавилъ Алеша и опять помолился за Ивана“.

Авторъ конечно не отрицаетъ вліянія рѣчей и доказательствъ и не разъединяетъ его отъ вліянія непосредственного, напротивъ и рѣчь то его миссіонеровъ оказывается настолько приспособлена къ обращающему, насколько проникнута бываетъ любовію. Эта то любовь является у него сама въ себѣ могучею силою; во всякомъ большомъ романѣ описывается ея дѣйствіе;—не описывается только, но и дается ключъ къ ея философскому уразумѣнію. Любовь эта въ повѣстяхъ нашего писателя есть не субъективное настроеніе только, а нѣкая міровая, Божественная сила, жизнь Божія, удѣляемая въ братолюбивыя сердца и чрезъ нихъ передаваемая любимымъ имъ. Видъ Бога нѣтъ этой любви и дается она только вѣрующимъ въ Его бытіе и благость; но за то въ сознаніи вѣрующаго самымъ основнымъ закономъ бытія, единственнымъ настоящимъ бытіемъ является эта любовь. Такія именно мысли исповѣдуютъ предъ смертью просвѣтившійся старикъ Верховенскій въ немногихъ, но поистинѣ драгоценныхъ словахъ къ духовнику и друзьямъ. — „Друзья мои, проговорилъ онъ (Стефанъ Трофимовичъ), — Богъ уже потому мнѣ необходимъ, что это единственное существо, которое можно вѣчно любить... Мое безсмертіе уже потому необходимо, что Богъ не захочетъ сдѣлать неправды и погасить совѣтъ огонь разъ возгорѣвшейся къ Нему любви въ моемъ сердцѣ. И что дороже любви? Любовь выше бытія, любовь вѣнецъ бытія, и какъ-же возможно, что бы бытіе было ей неподклопно? Если я полюбилъ Его и обрадовался любви моей—возможно

ли, что бы Онъ погасилъ и меня и радость мою и обратилъ насъ въ нуль? Если есть Богъ, то и я безсмертенъ... Одна уже всегдашняя мысль о томъ, что существуетъ нѣчто безмѣрно справедливейшее и счастливѣйшее, чѣмъ я, уже наполняетъ и меня всего безмѣрнымъ умилеиємъ и—славой,—о, кто бы я ни былъ, что бы ни сдѣлалъ! Человѣку гораздо необходимѣе собственнаго счастья—знать и каждое мгновеніе вѣровать въ то, что есть гдѣ то уже совершенное и спокойное счастье, для всѣхъ и для всего... Весь законъ бытія человѣческаго лишь въ томъ, что бы человѣкъ всегда могъ преклониться предъ безмѣрно великимъ“ (VII, 608—609).—Любовь сама торжествуетъ и надъ смертію, какъ говоритъ у него другой умирающій: „и пусть забудутъ, милые, а я васъ и изъ могилки люблю. Слышу дѣточки, голоса ваши веселые, слышу шаги ваши на родныхъ отчихъ могилахъ въ родительскій день; живите пока на солнышкѣ, радуйтесь, а я за васъ Бога помолю, въ сонномъ видѣніи къ вамъ сойду..., все равно — и по смерти любовь“ (VIII, 356).—По сочиненіямъ Достоевскаго выходитъ, что любящій и сострадающій, сливаясь въ духовное единство съ ближнимъ своимъ, не что либо сверхъестественное дѣлаетъ, но лишь возвращается къ утерянному грѣхомъ нашему единству въ Богѣ, которое онъ описываетъ въ „Снѣ Смѣшнаго человѣка“, изображая жизнь людей невинныхъ и святыхъ, жизнь у всѣхъ единую, чуждую современной отъединенности каждаго. Только общая гордость, замыкающая человѣка въ себя самого или эта часто упоминаемая *отъединенность* дѣлаетъ для нашего помраченнаго ума непонятнымъ, невѣроятнымъ эту общность природы нашей, восстанавливаемую любовью святыхъ людей. Теперь ясно, почему по Достоевскому спасительна только смиренная любовь, а горделивая — есть причина мученій: потому именно, что гордость, какъ сосредоточеніе всего жизненнаго содержанія около одного „я“, мѣшаетъ сліянію душъ и перелитію одной жизни въ другую,—для послѣдней нужна именно свобода отъ такой ограниченности, т. е. *смирненіе*: оно то упраздняетъ незримое средостѣніе, стоящее между человѣкомъ и человѣкомъ,—и какъ прививка сладкой яблони къ кислой, очищаетъ душу ближняго самымъ своимъ прикосновеніемъ, какъ объясняетъ старецъ Зосима.

„Предъ иною мыслью станешь въ недоумѣніи, говорить онъ, особенно видя грѣхъ людей, и спросишь себя: взять ли силой, или смиренной любовью? Всегда рѣшай: возьму смиренной любовью. Рѣшишься такъ разъ навсегда и весь міръ покорить можешь. Смиреніе любовное — страшная сила, изъ вѣхъ сильнѣйшая, подобной которой и нѣтъ ничего. На всякъ день и часъ, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтобъ образъ твой былъ благолѣпенъ“.

Это не пантеизмъ, но средство духовное, на почвѣ коего и Апостолы и Отцы изъясняли спасительную силу благодати въ смыслѣ именно усвоенія (Іоаннъ Дамаскинъ — Точное изложеніе), какъ сказано въ Посланіи къ Римлянамъ: *„яко же послушаніемъ единому грѣшны быша мнози, сице и послушаніемъ единому правди быша мнози“* (5, 19).

Великая идея Достоевскаго конечно содержится въ Божественномъ Откровеніи, но имъ именно она изложена живо и ясно. Значеніе этого изложенія въ томъ, что чрезъ него опредѣляется лучшее направленіе нашей любви къ людямъ, чѣмъ принято въ современной морали. Часто слышится фраза: можно разрушать заблужденія мысли, но какъ и кто можетъ сложить злую волю? поэтому благотворительность допускаютъ лишь вещественную. Достоевскій, призывая человека къ подвигамъ любви къ ближнему, говоритъ устами героевъ своихъ: „ты въ немъ новаго человека воскресишь“ (VIII, 394).

Смиренная, страдающая любовь есть эта воскрешающая сила: любовь безъ смиренія — мука, приводящая къ истязаніямъ и самоубійствамъ; но и отсутствіе гордости безъ энергичнаго самоотверженія даетъ дряблый, отвратительный и чувственно эгоистическій характеръ, въ родѣ Князя-Алешы въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, спокойно разрушавшаго счастье семействъ ради своего наслажденія; по отзыву нѣкоторыхъ читателей это типъ болѣе антипатичный, нежели его, открыто безнравственный и преступный, отецъ Пикто не можетъ упрекнуть Достоевскаго въ узости нравственного идеала въ проповѣди тупой покорности судьбѣ.

VI. *Состраданіе и правдивость.*

Но что же это за третья черта—*состраданіе*, о которой мы постоянно говорили? Состраданіе есть не одно только общее чувство, сопровождающее любовь и молитву. Въ этомъ смыслѣ оно, какъ и самая любовь, есть лишь условіе возрожденія природы; еслибъ заблужденіе людей заключалось — прямо и единственно въ злой волѣ при ясности ума и познанія, то и обращеніе производилось бы лишь соприкосновеніемъ воли противоположной, но мы уже сказали, что оболыщеніе выражается не только въ гордости и раздорѣ, но и во лжи или обманѣ. Злая воля присоединяется къ ложному міровоззрѣнію, а это въ свою очередь запутываетъ мысль. Міровоззрѣніе разумѣется здѣсь не только въ смыслѣ ложныхъ философскихъ взглядовъ, но и въ смыслѣ искаженнаго воззрѣнія на людей, чуждыхъ пріемовъ въ отношеніяхъ семейныхъ, принципиальнаго охлажденія къ отечеству и т. д. Правда, при общемъ покаянномъ настроеніи человѣкъ самъ можетъ въ концѣ концовъ выпутаться изъ всѣхъ этихъ путъ мысли и чувства, но и здѣсь его предупреждаетъ любовь именно сострадающая. Злая воля не безучастна въ каждомъ заблужденіи, но часто заблужденіе и ожесточеніе порождено главнымъ образомъ чрезъ обманъ, а обманъ силенъ именно тогда, когда содержитъ долю истины. Трагедія въ отношеніяхъ такого человѣка къ добрымъ друзьямъ заключается въ томъ, что они другъ друга не понимаютъ, какъ герои „Бѣсовъ“ не понимали просвѣтленнаго Шатова. То состраданіе, о которомъ мы говоримъ, заключается по Достоевскому именно въ способности понять человѣка, проникнуть въ то доброе, что у него есть, и оцѣнить его, освобождая его отъ примѣси лжи. Вотъ для сего то и нужна кромѣ смиренной любви еще и сила ума и широта образованія, почему и лучшіе воители добра—даже и монастырскіе монахи—являются у Достоевскаго людьми не только съ тонкою отзывчивостью, широчайшею терпимостью и чуткимъ пониманіемъ людей, но и надѣленными глубокимъ и всестороннимъ образованіемъ. Они находятъ общіе идеалы и съ Иваномъ Карамазовымъ, и съ крестьянами, и съ барышней-дворянкой,—

всякій въ нихъ находить себѣ сродныхъ по уму и по сердцу. Они какъ то умѣютъ совершенно вросли въ человѣка, сраспростереться со всѣми его мыслями, со всѣми фибрами его души, всего его поднять къ истинѣ и любви. Для сего нужно знаніе, нужна ученость.

Итакъ, состраданіе есть снабженная знаніемъ человѣка и его идей способность внутренняго самоотождествленія съ человѣкомъ, радостное сліяніе со всѣмъ въ немъ добрымъ и скорбь обо всемъ зломъ. Здѣсь именно сказывается ловецъ человѣковъ.—Всѣмъ извѣстно, что самъ Достоевскій на себѣ самомъ блестяще оправдалъ это требованіе, примиривъ на Пушкинскомъ праздникѣ западниковъ и славянофиловъ въ своей знаменитой рѣчи, въ которой съумѣлъ указать то общее лучшимъ представителемъ обоихъ лагерей начало, которое съ присоединеніемъ нѣкоторой своеобразной страстности разбило ихъ на двѣ, повидимому столь непримиримыя литературныя партіи. Начало это и есть, по Достоевскому, та чисто русская способность духовнаго отождествленія съ другими, о которомъ мы говоримъ, и которое Достоевскій называетъ перевоплощеніемъ. Этою способностію увлеклись наши западники въ смыслѣ полного поглощенія всей своей жизни европейскими интересами до полного забвенія своего роднаго, а крайніе изъ славянофиловъ, оцѣнивъ высокое преимущество русскаго народа, стали бояться прилагать его къ дѣлу, что бы не утратить и такимъ образомъ хотѣли по возможности ослабить наше общеніе съ иноземными народами. Ораторъ, представивъ самую то способность сердечно интересоваться жизнію другихъ народовъ свойствомъ отличительнымъ нашего народнаго характера или генія, призывалъ западниковъ обратиться къ жизни народа, что бы, почерпая изъ него эту способность, вмѣстѣ съ тѣмъ готовиться къ той великой задачѣ сродненія всѣхъ народовъ на единомъ началѣ христіанскомъ, къ чему призванъ народъ русскій.—Возвращаясь къ разсмотрѣнію этого возрождающаго свойства перевоплощенія или усвоенія, мы не станемъ говорить о томъ, какимъ именно способомъ оно облегчаетъ путь обращенія—это послѣ вышесказаннаго можетъ себѣ безъ труда представить всякій: гораздо труднѣе себѣ представить, какъ воспитать въ себѣ эту способность, столь рѣдко встрѣчае-

мую въ умѣ и сердцахъ самихъ обращающихъ. — Конечно, для сего, какъ сказано, надо прежде всего много и всесторонне учиться и многое познать въ жизни. Но учиться и знать недостаточно: большая ученость сама по себѣ не есть не только ручательство за пониманіе мотивовъ и симпатій людей, но перѣдко является опорой для ихъ собственныхъ заблужденій. Правда, Достоевскій не любилъ уступать всесторонней образованности своимъ отрицательнымъ типамъ, а шаблонныхъ лжелибераловъ непременно представлялъ себѣ или недоучками, или слабоумными рабами послѣдней прочитанной книжки: по возможности и довольно всесторонней учености при разбитости сердца и тѣмномъ міровоззрѣніи онъ всетаки допускалъ въ лицѣ Ивана Карамазова и Версилова, людей образованныхъ, талантливыхъ и по природѣ симпатичныхъ, но внутренне чужихъ для всѣхъ и cadaго. Очевидно, имъ не доставало того внутренняго условія для пониманія людей и жизни, въ усвоеніи и развитіи котораго заключается слѣдовательно наиболѣе важное и для пастырей условіе къ занимающей насъ способности перевоплощенія. Тутъ уже нравственный процессъ или духовное дѣланіе должны совершиться прежде въ душѣ самого своего проповѣдника, что бы потомъ охватить и обращаемыхъ. Не будемъ опять говорить о необходимости здѣсь сострадательной и смиренной любви: нѣтъ, рѣчь должна быть о томъ нарочитомъ стремленіи къ *правдивости*, о той открытости и простотѣ души, которая одна и можетъ распутать ложь общаго разъединенія и которую Достоевскій находитъ въ русскомъ народѣ въ качествѣ того именно начала, что въ соединеніи со смирениемъ, даетъ ему способность сродняться съ гениемъ всякой другой народности и перевоплощаться въ нее. При своихъ постоянныхъ жизненныхъ столкновеніяхъ, мы обыкновенно встречаемъ каждое явленіе предубѣжденно, пристрастно или, наоборотъ, недоувѣрчиво, но именно то отъ этого свободенъ характеръ нашего смиренного народа, который своею открытой душой лучше насъ приготовленъ къ тому, что бы быть психологомъ и психіатромъ. Такой Макарь Ивановичъ или Мужикъ Морей, которымъ нѣчто подобное создалъ и Левъ Толстой въ своемъ „Платонѣ Каратаевѣ“, сразу сродняютъ съ собою всякаго своею совершенною не

предубѣжденностью, открытостью души, какъ бы на подобіе цѣлительнаго бальзама, смягчающею застарѣлыя душевныя раны собесѣдниковъ. Культурному человѣку, въ родѣ Алеши Карамазова, подобная открытость и искренность дается и сохраняется лишь путемъ *молитвенныхъ подвиговъ и духовнаго бдѣнія надъ собою*. Въ жизни же всего простаго народа русскаго эта необходимая для духовнаго перевоплощенія правдивость сказывается въ томъ, что „хотя и развратенъ простолюдинъ и не можетъ уже отказать себѣ въ смрадномъ грѣхѣ, по все-же знать, что проклятъ Богомъ его смрадный грѣхъ и что поступаетъ онъ худо грѣша. Такъ что неустанно еще вѣруетъ народъ нашъ въ правду... Не то у высшихъ; тѣ... уже провозгласили, что нѣтъ преступленія, нѣтъ грѣха“ („Братья Карамазовы“). Въ этой разности отношеній къ своему грѣху—скажемъ кстати—полагалъ Достоевскій и единственное преимущество народа, о чемъ говорилъ очень часто и въ романахъ, и въ статьяхъ (напр. X, 50); причислялъ онъ въ этомъ отношеніи къ народу и вѣрующихъ изъ общества, полагая въ этомъ сознаніи несомнѣнную надежду на спасеніе даже для самаго закоренѣлаго злодѣя, какъ это выражаетъ пропойца Мармеладовъ въ своемъ знаменитомъ монологѣ, одномъ изъ лучшихъ перловъ нашего писателя (V, 22). Велика эта черта даже въ презрѣнномъ грѣшникѣ, а соединенная съ любовью, смиреніемъ и свѣтлымъ и глубокимъ образованіемъ, она золотымъ вѣнцомъ всегдашняго уснѣха увѣнчиваетъ проповѣдника истины, давая ему путь къ уразумѣнію тайнъ внутренней жизни ближнихъ, открывая возможность полюбить и понять ихъ доброе и чрезъ это окончательно покорить ихъ сердца вѣчной истиной Примирителя. Безъ этого свойства правдивости и соединенной съ нимъ свѣтлой, широкой всесторонности, авторъ даже и религіозность не высоко цѣнитъ, какъ это видно въ отзывѣ одного изъ его героевъ о Версиловѣ и въ типахъ Хохлаковой и о. Оерапонта; изувѣры и гордецы бываютъ повидимому религіозны, но имъ авторъ удѣляетъ симпатіи еще менѣе, чѣмъ увлекающимся скептикамъ или кутиламъ. „Тутъ причина ясная: они выбираютъ Бога, чтобъ не преклоняться предъ людьми, — разумѣется, сами не вѣдая, какъ это въ нихъ дѣлается; преклоняться предъ Богомъ не такъ обидно. Изъ

нихъ выходитьъ чрезвычайно горячо вѣрующіе, — вѣри́те ска-
затъ, горячо желающіе вѣрить; но желаніе они принимаютъ
за самую вѣру ¹⁾. Изъ такихъ особенно часто бываютъ
подъ конецъ разочаровывающіеся. Про господина Версилова
я думаю, что въ немъ есть и чрезвычайно искреннія черты
характера“ — (VIII, 60). Отсюда еще разъ видно, какъ да-
леки отъ истины тѣ, которые представляютъ Достоевскаго
человѣкомъ партіи; но ошибаются и тѣ, что утверждаютъ,
будто бы въ лицѣ о. Ѳерапонта онъ осуждаетъ аскетизмъ
отшельниковъ: возраженіе на это есть прямое въ бесѣдѣ
о. Зосимы: „Русскій Инокъ“, гдѣ говорится о необходимости
уединенія и подвиговъ для духовнаго возрастанія. — Осу-
ждая научное просвѣщеніе безъ любви христіанской и рели-
гіозности, чуждую любви и ненавидящую просвѣщеніе, ав-
торъ однако совершенно свободенъ отъ неблаговиднѣйшимъ
образомъ высказываемыхъ ему упрековъ въ нелюбви къ
русскому духовенству. Напротивъ, именно на него то онъ
возлагаетъ надежды, какъ на единственнаго соединителя рели-
гіозности съ просвѣщеніемъ народа въ школахъ; о нихъ нашъ
писатель заговорилъ еще въ 1873 г., когда Правительство
и не поднимало вопроса о церковно-приходскихъ школахъ.
Въ этой статьѣ (IX, 224) авторъ съ негодованіемъ осуж-
даетъ земцевъ, препятствующихъ духовенству учить народъ
и бороться словомъ проповѣди съ сектами протестантскаго
пошиба. Авторъ прямо говоритъ: „добрыхъ пастырей у насъ
много, — можетъ болѣе, чѣмъ мы можемъ надѣяться, чѣмъ
сами того заслуживаемъ“ (IX, 232).

Повторимъ формулу Достоевскаго объ условіяхъ вліянія
одной воли на другую: смиряясь, любя и познавая людей,
человѣкъ восходитъ или возвращается къ первоначальному
таинственному единству со всѣми и какъ бы переливая
святое (черезъ общеніе съ Богомъ усвоенное) содержаніе
своей души въ душу ближняго, преображаетъ внутреннюю
природу послѣдняго, такъ что при одномъ только согласіи

¹⁾ Буквально такіа качества показали одинъ публицистъ, возмнившій
поправить извѣстный афоризмъ Достоевскаго: „смирись гордый человѣкъ“
и пр. прибавкой: „смирись гордый человѣкъ предъ Богомъ“. Находились
невѣжды, вмѣнявшіе эту прибавку въ особенную похвалу критику, но ко-
нечно единственно по незнанію отеческаго ученія: „Послушаніе имѣй ко
всѣмъ“.

его воли, тяжкій путь его возрожденія почти совершенъ за него лишь бы онъ самъ не отвѣчалъ на это злымъ упорствомъ и ненавистью.

Но Достоевскій, великій учитель личной добродѣтели, отвертывается отъ общественныхъ, народныхъ и культурныхъ идеаловъ? Такое несправедливое обвиненіе стало общимъ мѣстомъ у его литературныхъ антагонистовъ: его ложность явствуется изъ того, что едва ли не въ каждой повѣсти Достоевскій говоритъ о Россіи, о Европѣ, о человѣчествѣ, объ исторіи. Правда, онъ предостерегаетъ насъ отъ тѣхъ путей воздѣйствія на ближнихъ, на коихъ стоятъ его литературные враги — онъ соотноситъ ихъ съ тремя искушеніями, предложенными Спасителю въ пустынѣ злымъ духомъ и подводитъ подъ нихъ все виды виѣшняго вліянія на массы, — все, кромѣ изложеннаго выше пути христіанскаго, а католицизмъ, социализмъ, партійную будирующую прессу и западническій государственный регламентаризмъ во всехъ его формахъ онъ совершенно отождествляетъ между собою по ихъ общему методу дѣйствованія. Не отрицая вовсе государственнаго начала въ жизни, онъ вопреки всемъ этимъ системамъ. требуетъ, чтобъ оно лишь утверждало и ограждало законами нравственные идеалы, уже созданные субъективною жизнью народа, а не выдавливало послѣднихъ изъ искусственно изобрѣтенныхъ юридическихъ предначертаній. Идеалы создаются личными геніями и ихъ таинственною внутреннею связью съ геніемъ народа; становясь такимъ образомъ достоинствомъ быта послѣдняго, они переходятъ въ форму культурнаго идеала, и наконецъ бытоваго обычая или даже государственнаго закона. Такія мысли нашъ писатель высказываетъ въ защитѣ своей Пушкинской рѣчи противъ Градовскаго. Но такъ какъ подобный путь вліянія есть путь мученія, креста, путь Христовъ — медленный и почти незримый, хотя и не обходимый въ будущемъ: то дѣятелю и представляются тѣ три *искушенія*, которымъ всецѣло поддалась Европа въ своей и религіозной и государственно-культурной исторіи и даже идеалахъ. Если истинная жизнь создается сострадающею любовью, смиреніемъ и искренностью, то ложность европейскихъ идеаловъ, не по содержанію, но по методу состоитъ въ томъ, что по неврѣю въ самую возможность и въ дѣйственность на землѣ

этихъ трехъ добродѣтелей, люди, особенно паписты и соціалисты, взяли себѣ орудіемъ: вмѣсто любви—удовлетвореніе вещественныхъ потребностей или *хлѣба*, вмѣсто смиренія—*насиліе*, вмѣсто искренности—запугивающій обманъ или ложное чудо, тайну и внѣшній авторитетъ; послѣднее у папистовъ — въ видѣ измышленнаго замѣстителя Христа на землѣ, а у соціалистовъ — въ видѣ несуществующихъ на самомъ дѣлѣ выводовъ изъ quasi науки и утопій о будущемъ обществѣ счастья. Объ этомъ Достоевскій писалъ еще въ 1877 году слѣдующее: „...О, я не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они (люди) удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже другъ противъ друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыдъ и стыдъ возвели въ добродѣтель. Родилось понятіе о чести и въ каждомъ союзѣ поднялось свое знамя. Они стали мучить животныхъ и животныя удалились отъ нихъ въ лѣса и стали имъ врагами. Началась борьба за разъединеніе, за обособленіе, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разныхъ языкахъ. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мученія и говорили, что Истина достигается лишь мученіемъ. Тогда явилась у нихъ наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братствѣ и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрѣли справедливость и предписали себѣ цѣлые кодексы, чтобъ сохранить ее, а для обезпеченія кодексовъ поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о томъ, что потеряли, даже не хотѣли вѣрить тому, что были когда то невинны и счастливы. Они смѣялись даже надъ возможностью этого прежняго ихъ счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себѣ въ формахъ и образахъ, но странное и чудесное дѣло: утративъ всякую вѣру въ бывшее счастье, назвавъ его сказкой, они дотога захотѣли быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали предъ желаніями сердца своего“ (IX, 133). Но еще краснорѣчивѣе говорятъ противъ искушеній ложнаго общественнаго вліянія его типы: Верховенскій и соціалисты — представители грубаго, тупаго и злостнаго насилія, невѣрующій западникъ Кармазиновъ-ложный и неестественный авторитетъ при мелкомъ и безсодержательно-эгоистическомъ настроеніи,

наконецъ, такіе характеры, какъ Раскольниковъ, „Подростокъ“, Иванъ и Смердяковъ, созидавшіе идеалы не въ настроеніи, а въ фантазерствѣ и отвлеченныхъ выводахъ безъ внутренней и жизненно-практической провѣрки, приходившіе всегда къ результатамъ совершенно противоположнымъ съ ихъ идеалами и при томъ прямо преступнымъ. Быстро вырастаютъ плоды ихъ дѣятельности, но плоды горькіе, плоды исполненные убійственного яда: они поддались обольщенію діавола, искушавшаго пастырское терпѣніе Христово и потому дѣло ихъ и общество ихъ — это „Бѣсы“, а плоды—свиная погибель, какъ въ озерѣ Геннисаретскомъ. — Напротивъ тяжелъ и медленъ путь отшельника Зосимы, но вотъ онъ пройденъ, и широко живительной волной расходится чрезъ него сила духовнаго возрожденія и встаетъ въ бытіе великаго народа, которому по мысли Достоевскаго суждено быть такимъ же учителемъ, такимъ же Зосимой, во всемъ человѣчествѣ и доставить всемъ вѣчный миръ и истинное блаженство. Достоевскій не былъ хилиастомъ, но тѣ. даже немногіе, но всенепобѣждающіе успѣхи сострадающей и смиренной любви, которые даютъ себя знать въ описываемой имъ дѣйствительности, наполняютъ сердце его такимъ восторгомъ, съ такою силою раскрывали предъ нимъ мудрость и благодать Домостроительства, что при видѣ неудержимо наступающей и расширяющейся области яркаго свѣта благодати и робко убѣгающей предъ нею тѣни грѣха и невѣдѣнія. онъ смотритъ въ будущее свѣтло и радостно и питаетъ неудержимую, непоколебимую надежду, что не только въ жизни будущей, но и въ формахъ жизни пастъ окружающей, при наличности имѣющихся у пастъ правственныхъ сокровищъ наступитъ общее возрожденіе, на подобіе того, которое приписано было на землю христіанствомъ въ первомъ вѣкѣ. „Но спасетъ Богъ людей своихъ, ибо велика Россія смирениемъ своимъ. Мечтаю видѣть и какъ бы уже вижу ясно наше грядущее: ибо будетъ такъ, что даже самый развращенный богачъ кончитъ тѣмъ, что устыдится богатства своего предъ бѣднымъ, а бѣдный, видя смиреніе сіе, пойметъ и уступитъ ему съ радостію и лаской отвѣтитъ на благолѣпный стыдъ его. Вѣрьте, что кончится симъ: на то идетъ. Лишь въ чело-вѣческомъ духовномъ достоинствѣ равенство и сіе поймутъ

лишь у насъ. Были бы братья, будетъ и братство, а раньше братства никогда не раздѣляется. Образъ Христовъ хранимъ, и возсіяетъ какъ драгоценный алмазъ всему міру... Буди, буди“. („Бр. Кар.“).

Въ восторгѣ братской любви мысленно обнимая вселенную; Достоевскій иногда мечталъ о всеобщемъ и полномъ блаженствѣ хотя бы въ будущемъ вѣкѣ и зная осужденіе оригенистовъ, смиренно и робко дерзалъ однако думать, что церковное воспрещеніе учить такъ, какъ эти послѣдніе, говорить скорѣе о мудро скрываемой тайнѣ, нежели о полномъ отрицаніи ихъ надеждъ. Именно такую рѣчь влагаетъ онъ въ уста явившагося діавола въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“. „Я вѣдь знаю, тутъ есть секретъ, но секретъ мнѣ ни за что не хотять открыть, потому что я, пожалуй тогда догадавшись, въ чемъ дѣло, рявкну „осаппу“ и тотчасъ же исчезнетъ необходимый миновъ и начнется во всемъ мірѣ благоразуміе. Я вѣдь знаю, что въ концѣ концовъ я помирюсь, дойду и я мой квадриллионъ, и узнаю секретъ. Но пока это произойдетъ, будирую и, скрѣпя сердце, исполняю мое назначеніе: губить тысячи, что бы спасся одинъ. Сколько, напримѣръ, надо было погубить душъ и опозорить честныхъ репутацій, что бы получить одного только праведнаго Іова, на которомъ меня такъ зло поддѣли во время оно! Цѣтъ, пока не открыть секретъ, для меня существуетъ двѣ правды: одна тамошняя, ихняя, мнѣ пока совѣтъ неизвѣстная, а другая моя“.

Мы не пойдемъ за писателемъ такъ далеко, но почерпнемъ изъ него то убѣжденіе, что для смиреннаго и любящаго проповѣдника Христовой благодати нѣтъ въ мірѣ границы вліянія, а только вѣчно расширяющаяся и просвѣтляемая область духовнаго объединенія людей, народовъ и поколѣній въ Христовой истинѣ и добродѣтели.

С. С. В.

1 Мая. 1893 года.
